

Александр КРАСНОПОЛЬСКИЙ

Я удивляться не устану
Рассветному концерту птиц,
Предштормовому океану,
Существованию границ,

Осенней позолоте леса
И кроме этого, друзья,
Что где-то без меня Одесса,
А где-то без Одессы я...

Наше детство спрятано в альбомах,
В тихом счастье материнских губ
И в шипеньи песенки знакомых
Из огромных патефонных труб.

В сундуках, комодах, а нередко
Над тахтой уютной, где в углах

Слоники на вышитых салфетках
Отражались в мутных зеркалах.

Наше детство — за ковром на стенке.
На ковре — испанка средних лет
Под гитару, вся в огне фламенко,
В ритме каблук и кастаньет.

Детство — на серванте, в синей вазе,
Угодил в которую мячом,
В бесконечном списке безобразий,
В том, что все нам было нипочем.

В шифоньерах, тумбочках, чуланах,
Под столом, где скатерть с бахромой,
В вечном доедании каши манной,
В вечном зове бабушки: "Домой!"

В тысячах чудес, из-под подушек
Таينو исчезающих на заре,
В появлении елочных игрушек
С пыльных антресолей в декабре.

В том, что были "по колено" реки
И все люди были хороши...
Видно, детство каждого навеки
В закоулках собственной души.

Одесский язык

Идиш в нем и бритиш перемешан.
И молдавско-русский наворот,
Но в тени акаций и черешен
Именно он и знал народ.

Не изыскан пусть, зато он сочен —
Словно спелый плод стекает с губ.
Он и в приблизительности точен.
Не обиден, если даже груб.

Ах, как он умел распространяться
Среди всех рожденных здесь — подряд!
В нем соленый привкус интонаций,
И степных акцентов аромат,

И певучий общий дух наречий
Всех тут "наследивших" за века:
Диалектом пенным расцвечен,
Радостным раздольем говорка.

Стольких анекдотов, стольких песен,
Голосов лишились бы и книги,
Будь не общепринятым в Одессе
Мой родной, чтоб я так жил, язык!

Ветер с моря

Океанам звезды в небе снятся,
Людам — яхта, мачта и штурвал.
Ветер с моря — как им надыхаться?...
Он то легкий бриз, то грозный шквал.

Озорник, проказник и задира,
Он, куда нестишь, решает сам.
Одолеет запросто полмира,
Чтоб дарить надежду парусам.

Он дает и ощущение дома,
И отраду, где бы я ни жил,
Им душа влекома и ведома,
В нем источник обретения сил.

Свежесть он несет и безмятежность,
И шторма, сводящие с ума...
Ветер с моря — вечность и безбрежность,
Значит, и поэзия сама.

США, Нью-Йорк.

Сергей КУМЫШ ОДЕССА. МАМА

По дому Мама ходила в просторном синем халате, держа между кончиками пальцев дамскую сигарету. Сигарета была тонкая, а Мама была толстая.

Я приехал в Одессу впервые. Вокзал мне сразу понравился. А еще я сразу понял, что мне некуда идти, потому что я ничего и никого здесь не знаю и не знаю, с чего начать. Но вскоре в глаза бросилась вывеска: "Служба расселения туристов".

— В гостиницу я вам не советую — дорого. А если не дорого, то обязательно далеко от центра. Могут предложить вариант в самом центре — снять комнату у одной одесситки. Сколько вы готовы заплатить?

Я сказал, что гривен сто пятьдесят.
— Алё, вот тут молодой человек за сто пятьдесят хочет.

На том конце, видимо, даже разговаривать не пожелали. Сотрудница "Службы расселения" положила трубку, не выказав никаких эмоций. Видимо, подобный исход разговора был для нее делом привычным. Не прошло и минуты, как раздался телефонный звонок. Женщина сняла трубку и, не сказав ни слова, положила ее.

— За сто шестьдесят — поселит.
— Меня здесь все называют Мамой, — другому она не представилась. Темноволосая, смуглая, грузная. Я так и не смог пересилить себя и в разговорах с ней просто глупо "выкал", предпочитая вообще никак ее не называть. Теперь я, как и все, называю ее Мамой. Потому что другого ее имени — настоящего — я так и не узнал. А это — осталось.

Первым делом я хотел пойти гулять. Я надел чистые белые брюки, свою лучшую рубашку — я готовился к встрече с городом, который за минуты на минуту должен был стать моим любимым (я знал это наверняка).

— И что ты оделся? Ты что, хочешь, чтобы все говорили: "Мальчик из Питера приехал"?
Я вернулся в комнату. Сложил одежду на стуле, кеды бросил в угол. Надел какую-то футболку, шорты не первой свежести, ноги всунул в пляжные тапки, на голову повязал платок. В таком виде я снова вышел к Маме.

— О, нормальный одесский прикид.
Мама категорически не хотела, чтобы я гулял по Одессе как турист, она твердо решила за три дня сделать из меня одессита. В какой-то степени ей это удалось (так она сказала, когда мы прощались). Но вот любимым этот город так и не стал. И даже не пытался. Пытался я.

Оказавшись на улицах Одессы, я тут же начал в нее усиленно влюбляться. Не влюбился, а именно начал себя в нее влюблять. Первые несколько минут у меня это даже получалось. Я спустился по переулку Некрасова, прошел еще несколько улочек и вдруг внизу увидел море, порт, корабли, всякие портовые сооружения. Я остановился. Я стоял в том самом городе, дышал тем самым воздухом (каким — тем самым?). Это был восторг. Собственно, на этом все и закончилось. Я пошел дальше. Дома, мостовые, деревья, дворы, "макдональдсы". В душу закралось подозрение. А где моя Одесса? Где город, в который я приеду и в нем растворюсь? Где город, в котором я навсегда оставлю сердце? Где город, который ласково примет меня, обнимет и не захочет отпустить? Ответ был очевиден: там, где я находился, этого города не было.

Я испугался. Этого не может быть. Я точно знал, что Одесса произведет на меня впечатление. Причем точно знал — какое. И, приехав, я ничего этого не получил. Я не только испугался. Я еще обиделся и даже разозлился.

Сначала я водил себя по Одессе и заговаривал: "Люби, люби, люби!" Поняв, что сам с собой не договорюсь, я начал приставать к Одессе: "Нравься, нравься, нравься!"

Вечером, вконец расстроенный и уставший, я вернулся домой.

Точнее — к Маме.
В кухню через открытое окно входили медленные одесские сумерки. Свет Мама не зажгала. Сидела перед маленьким цветным телевизором с неизменной сигаретой. Она спросила, нагулялся ли я. Я ответил, что да, и поинтересовался, что она еще посоветует посмотреть — попозже вечером. Она посоветовала бар "Гамбринус" ("тот самый, про который у Курпина") — по вечерам там играли музыканты, пели старые одесские песни. Я присел за стол рядом с Мамой. Она смотрела какой-то городской канал ("наши местные сплетни" — так она называла выпуски новостей).

— Сходи мне, пожалуйста, за сигаретами. У меня кончились. Как выйдешь, сразу направо, — и Мама протянула мне купюру. Это было сказано так естественно, и жест был такой техничный, что отказать или как-то по этому поводу напрячься было бы просто неуместно.

В магазине оказалось, что сигареты стоят дороже, а других денег я с собой не взял.

— Потом занесете, — сказала, протягивая пачку, продавщица, видевшая меня первый раз в жизни.

Когда я спустился в подвал, где находился "Гамбринус", музыканты уже начали. Их было трое — пианист, скрипач и гитарист. Играли они нестройно, пели фальшиво, хриплыми и, казалось, нетрезвыми голосами. Но при этом получалась музыка. Которая существует только здесь, в этом погребке. Которую нигде больше не услышать. И которую так никто больше не сыграет.

В перерыве я подошел к сцене.
— Вы знаете песню "Мишка-одессит"?
— Конечно, знаем. Как вас зовут?
— Сережа.
— А вы откуда?
— Из Питера.

Я вернулся на свое место.
— А сейчас для Сережи из Питера и его друзей прозвучит песня "Мишка-одессит", — к концу фразы гитарист заметно сконфузился — за своим столиком, кроме меня, никого не было.

Ночью, когда я шел спать, на одной из улочек сидела старушка и играла на аккордеоне. Она играла в полной темноте, сидя на табурете, раскачиваясь в такт музыке. Возле нее стоял открытый футляр — для денег. Надо было очень постараться, чтобы попасть монеткой в этот футляр. Я пошел. И, не останавливаясь, пошел дальше.

— Спасибо вам, дитя! — догнал меня ее голос. По голосу было понятно, что она улыбается. Я оглянулся. В темноте проглядывали лишь слабые очертания. Но улыбка была. Я точно знал это. Пока я не свернул на другую улицу, до меня доносились грустные и добрые звуки ее аккордеона.

Поначалу Мама не показалась мне похожей на одесситку. Точнее, она не была похожа на тот образ одесситки, который сложился у меня в голове. Но к концу первого дня, когда придуманные мной самим образы Одессы и одесситов были полностью разрушены, я уже знал — для меня нет большего одессита, чем Мама.

— У нас вон в том доме на первом этаже долго жила одна тетка. Мы ее все называли

негритяжкой. Она была большая и очень смуглая, темнокожая. Черная почти. Но не негритянка. Не знаю, кто она там. И у нее был рояль в одной из комнат. А окна она никогда не закрывала. Уж не знаю, зачем ей нужен был рояль, она на нем не играла. Зато она на этом рояле... или под ним, — Мама ехидно усмехнулась, — в общем, мужиков она водила. И почему-то всегда они это делали в той комнате, где рояль. И каждый раз, когда она начинала гоготать (а гоготать она начинала каждый раз), эта крышка большая, которая у рояля, усиливала звук. Жизнь в переулке замирала. Что-то делать под этот "аккомпанемент" просто невозможно. Мужики во дворе все закуривали сразу. Курили молча. Кто-то там пытался закрываться, чтобы не слышать. А бесполезно. Переулочек маленький: кошка мяукнет — на другом конце слышно. А тут еще рояль этот... А потом она съезжала куда-то. Как-то быстро так — раз, и всё. И нету ее. Соседи говорят — уехала. А куда — никто не знает. Никто с ней не общался. Но голос ее знали все.

— Мы когда жили на Молдаванке, то в нашем дворе никто будильником не пользовался. У нас там жили две подружки, молоденькие, обоем лет по двадцать. Одна на первом этаже, другая на втором. И они обе работали на каком-то предприятии. И надо было рано вставать. А у одной еще ребенок был, девочка маленькая. И вот она каждое утро, когда ее в садик отводила, выходила во двор с дочкой за руку и кричала подруге на второй этаж: "Ка-а-ать! А твою мать! Семь утра!" И все просыпались.

На другой вечер Мама подумала, что мне, наверно, скучно одному гулять по Одессе. Она решила познакомить меня со своей племянницей. ("Сейчас моя племянница придет, я ей позвоню, она тебе лучше меня все расскажет, где пойти и куда посмотреть"). Скучно мне не было. Но маме лучше знать. Из своей комнаты я слышал, как она разговаривает по телефону:
— ...давай, не дури, а вдруг это твоя судьба...
Племянница в тот вечер так и не появилась ("застеслась").

— Ты знаешь, ты не смотри, что они такие вроде смелые. Они и короткие юбки носят, и красятся вызывающе, но это так, не всерьез. А так у них поведение очень моральное. Не то что полячки или итальянки — те сразу на мужиков вешаются. Одесситки не такие. Их надо завоевать. Почитай мне, пожалуйста, вслух. На вот тебе книжку.

Мама протянула мне сборник одесских рассказов.

Я прочел самый первый рассказ.
— Ты вот что, когда будешь с девушкой знакомиться, ты с ней таким же голосом говори, каким мне сейчас читал.

Мама сказала, что Одесса — "город ничьих кошек". Кошек, которых никто не приручает. Но много кто подкармливает. Почти все подкармливают. Есть у одесситов такое негласное правило.

Кошек действительно было много. Они грелись на солнце, лежали на капотах припаркованных машин, возились в пыли одесских дворов, сидели на скамейках, перебегаемы улицы, лазали по деревьям, которыми обильно засажен город. И никто на них не "шикал", никто не пытался откуда-нибудь прогнать, никто не пытался на их свободу. А потому кошки эти, не бездомные, а именно — нищие — животные, чувствовали себя вполне независимыми и были (и остаются) полноправным населением одесских улиц.

К окну Маминой кухни тоже часто приходил черный кот. Точнее, приходил он ровно три раза в день: во время завтрака, обеда и ужина. Он не мяукал, не скребся и вообще никак не выдавал своего присутствия. Просто садился на подоконник, смотрел и ждал. "О, пришел. Сейчас, мой хороший". На этом их общение заканчи-

валось. Мама ставила на подоконник блюдце с чем-нибудь съедобным и больше не вспоминала про кота. Кот бесшумно ел и сразу после этого уходил, так и не издав ни единого звука.

На третий день, мой последний день в Одессе, к маме прислали двух новых жильцов — пожилого поляка и его дочку. Он был в Одессе двадцать лет назад, а девочка приехала впервые. И вот отец хотел показать дочери Одессу. Но, как выяснилось, он вообще ничего не помнил, кроме того, что здесь есть порт и что двадцать лет назад он был молод и Одесса произвела на него сильное впечатление. Скорее всего, он даже не столько хотел показать дочери город, сколько посмотреть на него ее — семнадцатилетними — глазами. На ломаном русском он выспрашивал у мамы, как куда пройти. Мама все объясняла на пальцах, что-то пыталась нарисовать (у меня до сих пор сохранился план центра Одессы, нарисованный мамой; нарисовано здорово, но найти по нему что-либо невозможно). Как выйти на одну из улиц, она так и не смогла объяснить и решила показать на карте.

Мама разложила карту.
— Вот вам на эту улицу надо выйти. Улица Подбельского. Это она раньше так называлась, карта старая. Как же она сейчас...

— Кобелевская, — накануне я тоже искал ее, и один старый одессит объяснил, что ищу я Кобелевскую, а спрашивать надо улицу Подбельского, как она раньше называлась.

— Точно, — оживилась Мама. — Вот, может, Сережа вас проводит, если вы его хорошо попросите, это недалеко. Он уже Одессу лучше меня знает, — улыбнувшись, добавила она. Это была приятная неправда.

У нас не было какого-то особого прощания.
— Ну, приезжай. Давай, пока.
— До свидания.

Мама еще постояла в дверях, в желтом свете прихожей, пока я садился в такси. Когда за мной закрылась дверь машины, закрыла дверь и она. Меня повезли по вечерним улицам к вокзалу.

Странная история. Все три дня, куда бы я ни пошел, везде наталкивался на какое-то несоответствие того, что я предполагал увидеть, почувствовать, понять до приезда в Одессу, с тем, что я действительно видел, чувствовал и понимал. Точнее, тогда я как раз не понимал. Понимать начинаю только сейчас. Так вот. Странность заключалась в том, что, гуляя по Одессе, я не чувствовал себя в Одессе. Того, за что я собирался этот город полюбить, в нем не было. Надо было найти что-то, за что я Одессу смогу любить. Но три дня — это мало. Особенно, когда глаза разбегаются и ты не знаешь, на чем остановиться взгляд. Но стоило мне оказаться на кухне у мамы, у открытого окна, выходящего в глухой внутренний двор, я успокоился. Глупое волнение и непонятное чувство неудовлетворенности уходило. Я чувствовал себя спокойно. Я чувствовал себя хорошо. Я слушал рассказы мамы, смотрел, как ветер тербит занавеску, внося в кухню запах двора и вынося во двор запах кухни. Тихо работал телевизор, постоянно передававший "местные сплетни". А свет Мама до наступления темноты не зажигала.

Это и была Одесса. Не целый город, который за три дня узнать и полюбить просто невозможно. Не улица, на которой меня, правда, уже знали в лицо охранник и продавщица в магазине. Не двор, где проживали свои дни старики и кошки, которым не было до меня никакого дела. И даже не квартира, в которой жила Мама. Вся моя Одесса уместилась на этой кухне, на этой довольно тесной маленькой кухне с евроремонтом, с легкой прозрачной занавеской и открытым окном. В которое входила Одесса. Из которого она выходила. Без которого бы ее — для меня — не было.

Россия, СПб.